

ЕЙНЫМ ХВОСТОМ В ИХНИЕ ХАРИ...

Вадим Чарышев после окончания московского пединститута сам решил поехать в Сибирь. Захотелось романтики и «жёсткой прозы жизни». Давно мечтал пожить в краю, про который разудало говорилось в одной присказке, которую он часто повторял про себя: в Сибири золото гребут лопатами, а соболей берут ухватами.

Прочитал в газете, что учителям в Приангарье предоставляют жильё и ссуду на обустройство. Созвонился и отправился в путь. Только не догадывался он, что местом его работы станет не просто далёкая провинция, а глухомань из глухоманей. Настоящий медвежий угол.

В Косой Шивере Чарышеву, как и обещали, выделили для проживания половину дома. Выплатили «денежные подьёмные» и до холодов посоветовали основательно «обжиться».

Он ожидал своих первых уроков истории как взлёта к новой жизни. Но прошло всё как-то невзрачно и обыденно. Ничем не удивили его и последующие сентябрьские дни. Ученики, поспрашивав вначале о московской жизни, быстро потеряли к нему интерес. Задания на дом, которые он давал, почти никто не выполнял. Коллеги-учителя этому не удивлялись, потому что на селе было горячее время и детей всюю привлекали к домашним работам: копать картошку, собирать бруснику и клюкву, ловить рыбу, бить кедровую шишку, солить грибы, квасить капусту... На нового учителя, не имевшего хозяйства, шиверские аборигены смотрели пренебрежительно, как на пришлого бездельника.

Поэтому, когда директор Бабашкин предложил поставить школьный «спектакль по какой-нибудь весёлой истории», он обрадовался. Понял, что и делом займётся интересным да и с людьми познакомится, потому что понадобится помощь родителей. К тому же директор посоветовал ему обязательно сходить к местной сказочнице, бабке Гаше, чтобы «приобщиться к народному творчеству». Правда, предупредил, что чужаков она не жалует: «Может послать куда подальше. Да так, что вся деревня будет над тобой потом надсмехаться. Остра на язык. Ох, зараза, остра! Так что ты с ней, учитель, поосторожней будь».

Вот к этой бабке Вадим и запланировал зайти вечером. Но его «приобщение» неожиданно началось намного раньше. Уже утром он попал впросак в прямом и переносном смысле. Причиной этого как раз и стало это самое «народное творчество». А если быть точнее, то здешний ангарский говор. Вернее — его незнание.

Готовясь к зиме, Чарышев обил войлоком дверь в доме. Подправил печку. А чтобы замазать трещину на трубе, прихватил рюкзачок и отправился на Красный яр за «самой лучшей глиной».

Чтобы добраться до этого места, нужно было переплыть через небольшую речку Каменку. С одной стороны к ней подступала обширная луговина. С другой —

огромные кедры и сосны. Тайга была светлая. С брусничными полянами и островками оленьего мха. А нужная ему глина находилась возле каменистого уступа, за которым начинались красновато-охристые яры, видные издалека.

За лодкой ему посоветовали обратиться к староверу Степану Луговскому, жившему на отшибе села, за небольшим распадком, прямо на берегу Каменки. Сказали: «Найдешь, не ошибёшься, у него прямо в ограде косулёнок живёт».

Дойдя до самой окраины, Чарышев за густым ельником увидел одинокий дом. В огороде копался мальчишка в светлой косоворотке. Он выдёргивал из земли морковку и складывал её в ведёрко. Чарышев поздоровался. Мальчик еле слышно поприветствовал и опасливо на него посмотрел.

— Папу позови, пожалуйста, — попросил Чарышев как можно доброжелательнее.

Мальчишка помолчал, а потом сбивчиво и настороженно ответил:

— У нас нету никакого папы.

Чарышев замаялся, но тут же вспомнив о необычном обитателе, который должен был находиться в этом семействе, спросил:

— А вашу косулю посмотреть можно?

Мальчик почти шёпотом, непонимающе произнёс:

— У нас нету никакой косу... — он засмутился, замолчал и стал настороженно смотреть на него широко открытыми глазами.

Чарышев растерянно кивнул, что-то буркнул и, подумав, что ошибся домом, зашагал по дороге дальше. Но дальше была тайга. Первозданная. С кедрами и елями. С зарослями малинников по обочинам.

Он прошёл ещё несколько десятков метров и вдруг, всплеснув руками, остановился. Громко хмыкнув, стал быстро возвращаться обратно, удивляясь своей оплошности. Ошибка была языковая. Чарышев старательно приравнивался к особенному сибирскому лексикону, но тот ему сходу не давался.

В огороде их было уже двое. Возле мальчишки стояла девочка в сарафане и тоже собирала в ведёрко выкопанную морковку. Она смущённо с ним поздоровалась и уважительно поклонилась.

— А тятя дома? — осторожно спросил Чарышев, будто подбирая ключик к непростому замочку.

— На реку ушёл. Он там лодку смолит. Вот-вот вернуться должен, — обстоятельно ответила девочка.

— А козу вашу посмотреть можно? — обрадованно спросил Чарышев.

Мальчик вопросительно посмотрел на сестру. Та решительно кивнула. Мальчик обрадованно закричал: «Сейчас!» - и помчался к сарайчику.

Красивая таёжная козочка — так здесь настоящие таёжники называли косуль — вышла в огород и, сделав два грациозных прыжка, остановилась сбоку от девочки.

И тут же сзади на плечо Чарышева властно опустилась тяжёлая мужская рука, и кто-то требовательно спросил:

— Ты что здесь забыл?!

Он вздрогнул и, обернувшись, увидел перед собой крепкого огнебородого бородача. На две головы выше его. В синей холщовой рубаше, подпоясанной полотняным ремешком.

Чарышев пояснил цель прихода, и бородач без расспросов, сходу повёл его к реке.

На берегу стояло несколько деревянных лодок-илимок. Одна из них была перевернута вверх дном. Над костром висело ведро. В нём пузырилась чёрная жижа. Старовер Степан зачерпнул ковшиком горячую смолу и стал поливать ею нос илимки, разравнивая потёки берёзовой лопаточкой. Не отрываясь от дела, разрешил Чарышеву взять любую из лодок и, указав на них рукой, стал заботливо пояснять:

— Вот эта, ближняя, тяжела на ходу: из сосны сделана. А та, самая дальняя, из ёлки. А эта из осины. Легка очень, но шибко уж бегуча, — и тут же спохватился, увидев, как в ведре высоко запузырилась закипевшая смола.

Чарышев без раздумий выбрал самую бегучую лодку. Столкнул её с берега и поплыл, со всей силы налегая на вёсла. Вода с шумом забурлила под носом лодки. Его рубашка запарусилась от набегавшего ветра.

Тонуть он стал почти сразу. Из всех щелей вовсю бежала вода. На берег Чарышев выскакивал, мокрый по самую щиколотку. Старовер подскочил к нему и без всякого сочувствия, возмущённо набросился:

— Ну я же тебе сказал, что она — бегучая. Самая дырявая здесь из всех. Ты пошто, дурья твоя башка, взял и схватил её. Глухой, что ли?! Или русского языка не понимаешь? Ох, и чудной ты, паря! — Степан закричал и, погладив бороду, задумчиво спросил: — Постой-ка, а не ты ли учителем новым будешь?

Чарышев, смущённо кивнул, будто провинившийся мальчуган. А надо сказать, что в чертах его лица всегда было что-то такое, что одновременно подчёркивало строгую серьёзность и недоступность, но в то же время говорило о его какой-то детской наивности и искреннем простодушии. И этого простодушия было столько, сколько могла вместить его распахнутая миру душа. Даже когда он обижался, то обижался вовсе не на окружающих, а исключительно на себя.

Со второй попытки Чарышев всё же набрал глины. Переправившись обратно, поблагодарил за помощь старовера. Тот, помяв в руках глину, недовольно скривился:

— Не ту взял! — и раздосадованно махнул рукой. — Давай сюда свой мешочек.

Старовер высыпал сбоку самоловника его содержимое. Пригласил Чарышева внутрь сарайчика и, указав на старую выворку с красной глиной, скомандовал:

— Набирай!

Чарышев шёл по берегу Ангары и бросал в воду камешки.

У причала увидел двух мужиков. Они сгружали с мотоцикла снасти, которые были похожи по форме на огромнейшие бутылки, сплетённые из ивовых прутьев. Каждая высотой под человеческий рост.

С приставшего катера спустились две женщины. Пожилая, та, что была с чемоданом, осталась стоять в стороне. Другая с ходу, будто коршун, злобно набросилась на мужиков и стала грубо их отчитывать:

— Чтоб я больше ни одной морды здесь вашей не видела, — кричала она. — Обнаглели, чёртовы браконьеры! К берегу подплыть уже нельзя. Ещё стоят и ухмыляются, — и, увидев, что рыбаки не двигаются, возмущённо всплеснула руками. — Вы что, не слышали? Сейчас же убирайтесь отсюда со своими погаными мордами!

Чарышев был поражён таким хамством, особенно когда узнал, что эту ругань устроила председатель сельсовета. Об этом ему сообщила приплывшая с ней женщина, представившаяся Надеждой Васильевной Чигринской. Именно ей он и помогал нести тяжёлый чемодан.

— Разве так можно?! — яростно негодовал Чарышев. — Она бы, эта дама, ещё бы селёдку взяла и ейным хвостом им бы в ихние хари и ткнула, как Ваньке Жукову у Чехова. Вот и была бы тогда настоящая классика, — и, заметив непонимающий взгляд Чигринской, разгорячённо воскликнул: — Да вы что, не видели?! Она же обращалась с ними, как Салтычиха с крепостными. У вас здесь во всём полнейший беспредел! Да разве может власть вот так с людьми разговаривать? Мордами их погаными обзывать? А?!

В этом месте Чигринская вдруг прыснула и стала безудержно смеяться. Наконец, вздохнув и всё ещё похохатывая, она пояснила:

— Вадим, это совсем не то, что вы подумали... Не то, — и, чмыхнув, продолжила. — Морды — это вот те ловушки для рыб, которые они выгружали, — и она вновь рассмеялась. — И «ихние хари» здесь абсолютно не при чём. А морды свои они действительно стали в наглуую ставить, прямо на самом фарватере. Вот капитаны и ругаются, — она посмотрела на него с какой-то снисходительной весёлостью и стала рассказывать примечательную шиверскую историю.

Оказалось, что несколько лет назад каким-то шальным ветром занесло на студенческую практику в местный совхоз одну разбитную деваху из города.

— Дел накуролесила она здесь — выше крыши, — поясняла Чигринская. — Расхаживала по селу чуть ли не в исподнем. Волосья ей местные девки, конечно, повыдергали за всё её хорошее. А когда прощались, директор при всех ей руку на собрании стал пожимать и очень ласково так говорит: «Вилюча-привилюча ты блажница, загрюшечка наша. Где же мы ещё теперь найдём такую?» А деваху, не разобравшись, начала благодарить и от умиления полезла обниматься с директором. Только по-ангарски он назвал её скандальной и беспутной женщиной. А та ничего и не поняла. Зато бабы наши от смеха чуть ли не по полу катались. Вот так с позором её и выпроводили из Шиверы. Здесь же на Ангаре раньше, если девка путява была, то у неё и тела-то выше колен никто за всю жизнь, кроме мужа родимого, и увидеть не мог.

— Так то когда было! — сказал Чарышев, с трудом таща на горку чемодан. — Раньше, говорят, и с учителями все здоровались, и шапки перед ними снимали. А сейчас здороваются только одни ученики да их родители. И то не все.

— Относительно вашего вывода я сделаю одно уточнение, — с явным недовольством возразила Чигринская. — Когда сюда, в Шиверу, приехал первый учитель - а им был Передереев Иван Абрамович - ох, какой же это был человек! Так вот с ним, совсем ещё молоденьким, поначалу никто не здоровался. Совсем! Уж такие ангарцы: к чужакам всегда относятся с настороженностью. А он вдруг взял и

стал первым здороваться со всеми. С детьми. И даже с лишенцами. Так тогда здесь репрессированных звали. И переборол всех шиверцев. Гордыню свою заткнул и уважил всех. А когда наши поняли, кто перед ними, так некоторые ему даже при встречах в пояс кланялись, как бы извиняясь за прежнее неразумие. А когда его забирали как врага где-то в году сороковом, так на берег полсела вышло провожать. Так что поверьте мне: ангарцы - люди хоть и жёсткие, приглядные, но добро никогда не забывают.

Они поднялись на угол и пошли по Большой улице. И тут начало происходить для Чарышева странное. Почти все стали здороваться с ними. И он с удовольствием раскланивался с шиверцами. Но вскоре понял, что все взоры были обращены на Чигринскую. А она лишь лёгким кивком отвечала на приветствия и подробно рассказывала своему провожатому про ангарский говор.

Оказалось, что ещё до войны этот коренной русский язык, занесённый сюда первопроходцами, звучал по всей Ангаре. Но затем в верховьях и низовьях стали строить гидростанции и комбинаты... Исконное сибирское наречие задержалось только в срединном Приангарье. Причём диалектный замес получился здесь удивительный. Вместе с образной красотой он вобрал в себя и грубоватую простоватость, и родниковую чистоту, и ершистое народное острословие.

Чарышев, доведя Чигринскую до самого дома, поставил её чемодан возле калитки и стал вдруг смеяться. Увидев её недоумение, пояснил:

— Ваши голодные мыши, Надежда Васильевна, уже целую неделю по соседски ко мне обедать ходят, — и он показал рукой на свою половину дома. — Вы уж не обессудьте, но...

— Так это вы — новый учитель! — радостно всплеснула руками Чигринская. — Ну что ж, коллега, рада знакомству. Как говорится, если сосед станет близким, то и забор будет низким.

Чарышев заскочил к себе домой. Оставил мешочек с глиной и пошёл покупать что-нибудь из съестного.

Он вошёл в магазин и сразу окунулся в бурлящий людской котёл. Все взгляды присутствующих были направлены на продавщицу Райку, которая, сверкая глазами, сосредоточенно взвешивала буханку хлеба. Как только стрелка весов перестала колебаться, она артистично выдержала паузу и возмущённо закричала:

— Девятьсот двадцать грамм! Это где ж такое видано!

Стоявшие по другую сторону прилавка человек десять-двенадцать недовольно загудели и злобно на кого-то заругались. Райка взяла следующую буханку, опустила её на площадку весов и вновь заорала так, что от сотрясения воздуха задребезжало стекло в форточке:

— Девятьсот сорок! Варначка бесстыжая!

— Вот жалунца! — выкрикнула бабка Скракля и замахала кулаками. — Змеюка треклятая!

Чарышев тихонько попытался выяснить причину происходящего, но Райка, заметив это, тут же перехватила инициативу и объяснила всё с горлопанной доходчивостью:

— В буханке килограмм веса должен быть. А пекариха Галька, тварь бесстыжая, начала приворовывать, — и она, указав пальцем на циферблат весов, яростно выкрикнула: — Вот!

Райка настолько завладела чувствами людей, что все вдруг замолчали и стали пристально смотреть на неё. И она, почувствовав величие момента, гордо вскинула голову и душераздирающе прокричала:

— Бабы! Давайте, бабы, берите нового учителя, он сторона у нас нейтральная, и идите с ним в пекарню! Идите да и проучите как след эту Гальку-воровку. Да тумакон ей надавайте. А то вам завсегда здесь всё Райка такая-рассякая! А настоящую гадину у себя под боком проглядели. Вот оно как!

— Да, Галя-то ни в чём плохом замечена до этого не была, — попыталась урезонить возмущённый народ дородная, статная бабка, которую величали Силовой. — Хлеб-то у ней в пекарне всегда бравый да духмяный...

— Защитница выискалась! — криком начала вразумлять её Скракля, выводя всех на улицу, при этом цепко придерживая за рукав Чарышева. — Глаза-то у тебя в магазине не чужи ведь были?! Срам все её видали. Вот пусть за это кровушкой своей и умоется сейчас.

К идущей по дороге толпе присоединились ещё люди. Кто-то взял жердину. Расхристанный мужичок прихватил с дороги камень. Его примеру последовали ещё несколько человек. Размахивающая руками Скракля одобряюще поддерживала толпу зазывными возгласами:

— Сейчас она сполна хлебнёт своего горюшка! Вот зараза-то какая! Я, бабы, вот походя тут прикинула... Так выходит, она ж кажен день себе в карман пол моей пенсии лóжила! Ох и ворюга!

Людское скопище ещё больше взбесновалось от такого известия. Мужичок со всей силы стал дубасить жердиной по воротам пекарни и орать:

— Открывай, воровка! — другие тоже стали кричать оскорбления, некоторые грязно матерились. — Выходь, сволочина!

Чарышев увидел, как в окошке мелькнуло перепуганное лицо молодой женщины. И тут же в угол оконной рамы ударился брошенный камень. Вслед полетели ещё камни. Один из них разбил стекло.

— Открывай! — продолжал бить по воротам мужичок.

Чарышев, не решавшийся до этого воспрепятствовать стихийному произволу, мгновенно среагировал, когда увидел, как замахнулся булыжником какой-то мальчишка. Он крепко схватил его за руку и тут же всем прокричал:

— Остановитесь! — и, выйдя вперед, неожиданно для самого себя, решительно скомандовал, указывая на Скраклю и ещё двух, стоявших рядом женщин. — Вы, вы и вы, пойдёмте разбираться! Все остальные ждите, — заметив, что мужичок с жердиной вновь приготовился для нового удара, сходу осадил его. — Прекрати долбить! Следи здесь за порядком, — и тот, повинувшись, согласно кивнул.

Когда они втроем двинулись к калитке, кто-то сзади крикнул:

— Силовну-то для праведности с собой возьмите, — и несколько голосов поддержали это предложение.

В пекарне сидела за столом перепуганная худенькая, миловидная Галя и плакала. Её руки были в муке. Печка гудела огнём. В двух чанах подходило тесто.

Пахло дрожжами. Девочка, видимо её дочка, пыталась заделать выбитое стекло каким-то тряпьём.

— Не ряви! — разъярённо прикрикнула на пекариху Скракля. — Неча воровать было. Ты кого, змея подколодна, делала? На всём селе наживалась.

Та мотала головой и тяжело вздыхала:

— Я никогда ни у кого чужой копейки не взяла.

Пришедшая с ними сухонькая женщина подбежала к пекарихе и как-то неуклюже несколько раз ударила по её спине рукой. Девочка бросилась на защиту матери. Чарышев стал оттаскивать женщину, которая негодуяще кричала:

— Да видали мы сѣдни, как ты, паскуда, всю Шиверу обкрадывала!

Чарышев, увидев на столе чашечные весы-«уточка», спросил:

— Хлеб купленный есть у кого-нибудь с собой?

Силовна достала буханку из сумки. Подойдя к весам, Вадим снял с одной чаши пакет с какой-то смесью и обратился к пекарихе:

— Гири где?

Та, вытирая слёзы, взяла из рук Чарышева хлеб, положила его на одну сторону весов, а на другую — всё тот же пакет. Хлеб даже немножко перевесил.

— Да кто ж так делает! — недовольно прикрикнул на неё Чарышев. — Вот потому-то вы и обманываете всех.

Подошедшая Силовна, глядя на лежавшие рядом точно такие же пакеты, удивлённо спросила:

— Соль?

— Да, — ответила Галя. — Мне так сподручнее вешать.

Силовна заменила пакет на весах на другой и вновь уровень чаши с хлебом немножко опустился вниз.

— Это ж соль магазинская. Райкина, — тихо сказала она. — Её фасовка килограммовая. Так?

Пекариха согласно кивнула:

— Я у неё покупала.

Силовна начала сама взвешивать пакет с солью, но необходимые маленькие гирьки долго не могли отыскать. А когда они нашлись — недовес обнаружился под сто граммов. И в этом, и в других пакетах.

Скракля оказалась шустрее всех и, выбежав за ворота пекарни, ошарашила всех открывшейся правдой. В одно мгновение людское возмущение развернулось в обратную сторону...

— В Писании так и написано: какой мерой меряете, той и вам отмеряно будет, — поясняла Чарышеву Силовна, с трудом ковыляя по дощатому тротуару. — Поэтому всегда нужно помнить: не потому ли тебя обманули, что и сам кого-то обманывал?

Когда подошли к её дому, Чарышев по номеру на калитке понял, что это как раз и была та самая «бабка-сказочница», к которой он собирался зайти вечером.

Звали её Агафья Фёдоровна. Силовной величали по отцу. Она пригласила Вадима в дом и по-ангарски скомандовала:

— Сымай свою лапотину да проходи в мои хоромы!

Жила баба Гаша скромно. В кухонном закутке виднелся грубо сколоченный стол и некрашенная лавка. На комодке красовались слоники. В углу расположился огромный фикус. На тумбочке стоял небольшой телевизор, накрытый кружевной салфеткой. В глубине возвышалась массивная кровать с двумя взбитыми подушками.

Связующей основой дома являлась большая русская печь, которая своими боками заметно выступала и на кухне, и на стороне горницы. В красном углу, над божницей, горела лампадка. На подоконнике примостилась цветущая герань. На стене тикали часы-ходики. Рядом висела выцветшая чёрно-белая фотография в рамке. На ней был изображён молодой мужчина. Наверное, подумал Вадим, это и был тот самый «её любимый Анфимушка», погибший, как ему рассказали, во время войны. И после этого Агафья больше уже ни за кого не пошла замуж.

В доме было светло и чисто. Дышалось легко и свободно.

Баба Гаша, побыв минуту-другую в закутке, вышла наряженной, как на праздник, и сразу же стала почтительно называть Чарышева Вадимом Алексеевичем. Держалась с ним осторожно и обходительно, будто он был сделан из какого-то очень хрупкого и дорогого материала.

Усадила его за стол. Принесла картошки, хлеба и «жарёхи» — жареную рыбу в сковородке. И очень обрадовалась, что он не воспротивился этому угощению. Села напротив и заулыбалась. Тут же поднялась и, вздрогнув, сказала:

— Ща-а-с!

Она пошла в уголок и достала из закутка бутылку водки. Только собралась её нести...

— Так какую сказку вы предложите для спектакля, Агафья Фёдоровна? — громко спросил Чарышев.

Силовна, не привыкшая к такому уважительному обращению, охнула. Затем задумалась и, не решившись нести водку, поставила её обратно в ящик. Вновь присаживаясь за стол, сказала:

— Дети и про «Репку», и про «Царевну-лягушку» любят слушать. А ещё у меня новая придумка есть...

— Поделитесь?! Директор сказал, если вы нам поможете, то мы вас потом хорошо отблагодарим.

— Ага, — хмыкнув, она хитро улыбнулась. — Когда зубов не стало, так сразу и орехов принесли...

Силовна убрала салфетку, прикрывавшую хлеб, и, отрезав краюху, протянула её Чарышеву:

— Ешь. У меня здесь всё по-простому, — и, видя, как Вадим взял в руку вилку, поспешно поднялась и на ходу произнесла: — Ща-а-с!

Вытащив снова бутылку водки, она решительно понесла её к столу. Сидевший к ней спиной Вадим вновь очень учтиво обратился к ней:

— Агафья Фёдоровна, мне ваши сказки записать нужно будет.

— Зачем это? — перепуганно спросила она, на ходу пряча водку в карман фартука, и, уже присев, продолжила. — Я там совсем немножко сама сочинила. А остальное всё, как от других слыхала. Так что с меня и спросу никакого нету.

— Это для того, чтобы потом по ролям её можно было распisać.

— А-а-а. Как говорится: сказала бы я словечко, да волк недалечко. Тока ты пойми, я сказку эту для себя сочиняла. От других-то говорить получится али нет, не знаю. Ну, раз пришёл, давай уж сам послушай и оцени. Только я кажен раз её по-разному рассказываю. Это оттого, как она на душу мне ложится и кто в неё глядится. Да...

И, помолчав, стала говорить очень тихо, размеренно, медленно поднимая руки с растопыренными пальцами. Казалось, что баба Гаша вовсе не сказку начинает рассказывать, а готовится околдовать доверчивого гостя. Дальше её слова действительно зазвучали как какое-то магическое заклинание. Всё убыстряясь и убыстряясь. Под ритмичное, нарастающее притопывание ногами:

— ...Колокины Дуньки — курицы-кладуньки. Свиньи умны забралися в гумны. Пива наварили — борова женили!

Баба Гаша вдруг поднялась, схватила огромный яркий платок с полки. Повернулась с ним, да так, что затрепетали огромные листья у фикуса. Затем накинула платок на себя, будто спряталась, и тут же из-за этой весёлой разноцветной занавеси раздались одновременно разные звуки. На фоне хрюканья, кряканья, громкого притопывания зазвучал возвышенный, низкий и красивый голос:

— Боров в кафтане — свинья в сарафане, — и в это мгновение платок скользнул вниз и порывисто закрутился вокруг пояса. — Утка в юбке пошла к Любке. Селезень в сапогах на высоких каблуках. Колода-дуда, где ж ты была? Да коней стерегла!

И в одно мгновение баба Гаша, накрывшись платком, резко бросилась к его ногам, и откуда-то снизу раздалось громкое рычание. Затем она обхватила голову руками. И сквозь её растопыренные пальцы он увидел глядящие на него волчьи глаза. Затем её руки в одно мгновенье превратились в мохнатые лапы, и, когда они соскользнули вниз, на него уже смотрело морщинистое чудище с обвислыми волосами. И оно вплотную приблизилось к нему, зашипело, и во рту его обнажились два желтоватых клыка. Чарышев испуганно дёрнулся и стал искать глазами бабу Гашу. Но, кроме этого чудища, никого больше не было. И оно затопало ногами и вкрадчиво заговорило с ним хриплым, басистым голосом под ритмичные удары, похожими на звуки бубна:

— Говорят, что встарь бывало, и собака с волком в лесе тёмном проживала. Ах-ах-раз-тудах! — и, резко ткнув пальцем в сторону Чарышева, напористо выкрикнуло: — Дак всё у нас здесь может случиться: и богатый к бедному постучится, — и чудище замахало лапами в такт своим причитаниям. — Потому что так у нас давно здесь ведётся, что изба веником метётся! Ну а если не домнёшь мялкой, так не возмёмшь и прялкой, — и чудище вдруг вскинуло голову и завыло волком. Протяжно и страшно. Крутанулось юрким волчком и враз пропало, прикрывшись платком.

И тут же вновь обернулось. Лапицей замахнулось. Под платок поднырнуло. И перед ним вновь предстала в добродушном обличье баба Гаша, с обидным удивленьем спросив Вадима, теребя его за рукав:

— Куда же кикимора подевалась? И со мной ведь не попрощалась. Всё морочила меня морочка, а напророчила, как сорока! Напугала тебя злодейка да и

сбежала, как прохиндейка. Родилась она, может, и пригожа, да по нраву вышла никуда негожа.

И в ту же секунду баба Гаша как будто птицей слетела с небес и заглянула снизу в глаза Вадиму. — И то бывает, что свинья гуся съедает. Будь дорогушей — сказки послушай! А я тебе расскажу, что не поймёшь — подскажу. Итак, начинаю — мою сказку представляю...

Тут баба Гаша приподнялась и пошла павой по выскобленному, золотистому полу, а затем словно полетела, потому что платок скользнул к ногам и сделал невидимой её походку:

— В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицей. И у царя с царицей были три сыночка и ни одной девицы... Все три сына — удалые, холостые, деловые...

Что это был за вечер! Вадим шёл домой довольный, радостный. Хмельной. Душа пела и пританцовывала. И небо было праздничным. Чистым, звёздным. Очень ярко горели Кичиги, так ангарцы называли созвездие Ориона. И от Чарышева как будто тоже исходил свет. То, что произошло сегодня, для него было каким-то озарением. Он ещё никогда так не чувствовал удивительную силу и красоту народного языка. До этого ему его преподносили лишь как «неграмотное просторечье». И он верил в это.

Верил до такой степени, что, приехав в Москву, стал спешно и старательно избавляться от особенностей своего провинциального произношения. Как от чего-то постыдного и неприятного. Неимоверно поспособствовала этому и одна профессорша, любившая втолковывать студентам, что «от речи простолюдинов всегда разит онучами и щами. Но надо помнить, — подчёркивала она, — что с этих низов и родился язык высокой литературы». И каждый раз сравнивала это с тем, как «на навозном дерьме вырастает вкуснейшая картошка».

Только со временем Чарышев стал понимать, что у некоторых преподавателей-филологов напрочь отсутствовал слух к главному. К родному языку. И это было так же абсурдно, как если бы у профессоров консерватории не было музыкального слуха.

Чарышев, несколько лет изучая английский, только этим вечером, понял, благодаря бабе Гаше, насколько русский был богаче его, пластичней и свободней. И это был его родной язык, способный выражать чувства многогранно и многообразно. В нём не было солдафонского порядка расположения частей речи. В нём позволялись самые разнообразные перестановки и сочетания слов. И каждое из них можно было подстроить друг к другу по созвучию и ритму. И эта устремлённость к гармонии оттачивалось в русском языке веками. И его главным создателем был простой народ. В том числе и эта удивительная баба Гаша.

Только на Ангаре Чарышев понял, насколько язык определяет характер людей и сущность их жизни.

Придя домой, он растопил печку, всё продолжая и продолжая думать о Силовне.

Когда увидел её в магазине, подумал — обычная деревенская баба. А вгляделся и ахнул. В ней была сокрыта редчайшая красота. И она всем своим нутром чувствовала её. И обходилась с ней бережно. Не выставляла напоказ. Жила с

ней даже в каком-то смущении оттого, что именно ей досталось такое сокровище. Будто боялась спугнуть ниспосланное свыше. И Чарышев по предыдущим встречам понял, что таких людей здесь было в достатке. Только не умел он их сразу распознать.

Жизнь в Шивере с самого начала ему показалась какой-то замшелой древностью. Примитивной отсталостью. Но теперь он стал понимать, что в её грубоватой коряжеватости как раз и была скрыта основа всех основ: её становой хребет, который складывался по крупицам из выверенного опыта предыдущих поколений. И на этой немудрёной сущности держалась не только здешняя жизнь, но и жизнь всей провинциальной России.

Он уже не в первый раз задавался вопросом: каких людей в Шивере больше? Хороших или плохих?

Тех, кто жил не по совести, здесь было много. Хватало и тех, которые сами шли к своей гибели, не в силах свернуть с пагубного пути. Но даже самые пропащие всегда понимали, где проходила граница между святостью и мерзостью. Какая тропинка вела к Богу, а какая к дьяволу. И всегда находились те, немногие, которые неотступно мерили свой век праведностью и ответ держали перед вечностью. Вот благодаря им и теплилась жизнь на земле, и не прекращалось заведённое свыше мироустройство. И продолжала гореть лампадка в доме бабы Гаши.

Вот только её заковыристый ответ не давал покоя Чарышеву. Уходя, поинтересовался её неприязнью к чужакам, намекая, что как раз он оказался приятным исключением. А Баба Гаша, стоя возле калитки, недовольно зыркнула на него и неодобрительно буркнула:

— Не гоже своей гордыней как помелом размахивать. Не о том говоришь, учитель. Даже из одного дерева может сотвориться совсем разное: и икона, и дубина. Так вот и по мне: лучше уж быть с умным в аду, чем с глупым в раю. Хорошо бы при этом ещё и понятливый попался. Потому что не только гребень голову чешет, а ещё и время как след выглаживает... — и на прощание угостила его горсткой кедровых орехов. А когда он не видел, улыбнулась ему во след и бережно перекрестила.